

спускаясь — пели



ГУЛКОЕ

повесть о спуске

рой на голос

EXOTICVS LAB.

Гулкое

<https://litres.ru/74193789>

SelfPub; 2026

Аннотация

«Гулкое» - философская повесть-притча.

Где-то есть Гулкое: место, куда ушли давно и, кажется, насовсем. Здесь живут, работают и поют - и слушают гул, идущий снизу.

Это книга не про события, а про один короткий вопрос - тот самый, что на букву длиннее ответа.

Медленная, тёмная, местами странная проза в традиции Платонова и Оруэлла, с интонацией русского рока и самиздата. О вере и привычке, о словах, которые укорачивают, пока они не начинают значить обратное.

Спуститесь и послушайте.

Содержание

Глава первая	4
Глава вторая	7
Глава третья	10
Глава четвёртая	13
Конец ознакомительного фрагмента.	16

EXOTICVS LAB.

Гулкое

Кто копает - тот и есть.

Кто спросит - того нет.

со стены седьмого уступа, надпись стёрта наполовину

Глава первая

Гулкое

«ГЛУБЖЕ - СВЕТЛЕЕ»

Гулкое лежит в яме, и это первое, что нужно про него знать; всё остальное - потом, если останется время, а времени внизу не остаётся, оно уходит вместе с землёй, которую мы поднимаем наверх в плетёных коробах.

Мы живём на уступах. Уступ - это как ступень, только на ней помещается дом, и другой дом, и колодец, и человек, который сидит у колодца и слушает. Уступов много. Чем ниже уступ - тем он старше и тем больше его уважают, потому что те, кто копал его, были ближе к Дому, чем мы, и, значит, лучше нас понимали, зачем всё. Наверху, у самого края, живут молодые и глупые; там холодно и виден край неба, если поднять голову, но голову у нас поднимать не принято - шея

не для верха, шея для дела.

Дело у нас одно. Мы копаем. Мы копаем Спуск - это большая, единственная работа, которую ведут в Гулкем с тех пор, как есть Гулкое, а есть оно всегда. Мы роём вниз, потому что внизу будет Дом. В Доме будет тепло, и светло, и все соберутся, и уже никто никуда не пойдёт, потому что идти будет некуда и незачем - все будут дома. Скоро. Так говорят на каждом уступе, передавая слово вниз и вверх по цепочке, как ведро: скоро. И от этого слова делается тепло даже в мокрой глине.

Глубину у нас считают в локтях. Не в годах - годы наверху, а мы под годами, к нам они доходят слабо, как свет доходит до дна колодца, то есть никак. Считают в локтях: сколько прошёл Спуск вниз с прошлого праздника. Есть у нас человек, Счётчик, он один умеет складывать локти в сотни, и когда он объявляет новую сотню, весь Спуск замирает и слушает, и потом выдыхает разом, и этот выдох тоже гудит. Сто локтей ближе к Дому. Ещё сто. А всего их сколько до Дома - не знает никто, потому что это знает только чертёж, а чертёж у Зодчего, а Зодчего никто не видел.

Гул - это то, что снизу. Его слышно не ухом, а костью, вот здесь, за грудиной. Приложишь ладонь к стене Спуска - и она гудит, ровно, тепло, как будто там, глубоко, кто-то очень большой дышит во сне и напевает себе под нос одну ноту, без конца. Старшие говорят: это Дом зовёт. Это он там уже готов и ждёт нас, и напевает, чтоб мы не сбились, чтоб

копали на голос. Мы и копаем на голос.

Вечером, когда короба пустеют и глина на руках высыхает и трескается, как чужая кожа, мы садимся у колодцев и слушаем. И кто-нибудь обязательно скажет: «Слышите? Ближе стало». И все кивают. И правда - ближе. Каждый вечер ближе. Уже сколько живёт Гулкое, а всё ближе и ближе, и никак не дойдём, но это ничего, это даже хорошо, потому что пока не дошли - есть куда идти, есть зачем вставать, есть это тёплое слово в горле: скоро.

Я тогда ещё верил. Я честно вам говорю, чтобы вы потом не думали, будто я всё понимал с самого начала и молчал. Я не понимал. Я копал вниз и слушал гул и был почти счастлив, как все. Только иногда, ночью, когда все спали - а спят у нас ничком, лицом к делу, - я один лежал на спине и смотрел вверх, в узкую щель между уступами, где висело несколько мелких, злых звёзд. И мне хотелось спросить у них одну вещь. Но я уже знал, что спрашивать нельзя, и глотал вопрос обратно, и он падал внутрь меня, вниз, как всё у нас падает вниз.

Меня и звали за это - Зачем. Но про имя после. Сначала про то, откуда оно взялось, потому что имя у нас не дают, имя у нас - зарабатывают, как мозоль.

Глава вторая

Как меня назвали

«НАВЕРХУ БЫЛО ХОЛОДНО. ВНИЗУ БУДЕТ ТЕПЛО.»

Отца моего звали Тихон, и был он хороший копальщик, тихий, как имя, и я его помню плохо - помню руки, большие, тёплые, в трещинах, и как он поднимал меня посмотреть на белую надпись, будто это и был отец: руки да буквы.

Гул позвал его, когда я был ещё мал - по колено взрослому. У нас это, я уже говорил, радость: когда гул зовёт по имени. Значит, дорылся человек, значит, входит в Дом первым, готовить нам место. Отца собрали провожать, и весь наш уступ, и соседние, и было много огня, и пели, и лица у всех были мокрые и счастливые, и мать держала меня за плечо так крепко, что потом остались синяки, пять маленьких синяков, я их долго берёг, пока не сошли.

Отец шёл к чёрному зеву радостный. Он обернулся и махнул мне рукой. И тут я, маленький, ничего ещё не знавший про то, о чём нельзя, спросил - громко, на весь Спуск, детским звонким голосом, каким спрашивают про самое простое:

- А зачем он туда идёт?

И никто не ответил. Пели дальше. Тогда я спросил ещё,

потому что мне казалось - не расслышали:

- А он вернётся? Оттуда - обратно, к нам? Зачем он уходит, если там хорошо, - почему он не может там хорошо и с нами тоже?

И вот тут стало тихо. Не сразу, а как трещина идёт по льду - сначала возле меня, потом дальше, дальше, пока не смолкли все. И я увидел, как с лиц сходит счастье - сползает, будто глина под дождём, и под ним оказывается что-то другое, серое, голое, чего взрослые сами боятся и потому прячут под счастьем. Мать зажала мне рот ладонью. Ладонь пахла глиной и дрожала. «Молчи, - шепнула она мне в самое ухо, и голос у неё был не материн, чужой. - Молчи, дитятко, ради всего, молчи». А отец уже шагнул в темноту, и темнота его приняла, беззвучно, и гул на миг стал громче - и снова ровный.

С того дня меня и звали Зачем. Сначала беззлобно, потом с опаской, потом уже никак иначе. «Вон Зачем пошёл». «Тише, Зачем идёт, спрячь язык». Бабка Ганна, злая и святая, как все наши старухи, сплюнула однажды в глину и сказала про меня будто пословицу: «Этот - как муха на стекле: света хочет, а стекла не понимает. Бьётся, бьётся, а стекло-то крепче». И все закивали, и я закивал тоже, маленький, будто соглашаясь, что я муха.

А я всё думал про отца. Не про то, хорошо ли ему в Доме. А про то, отчего у всех сползло счастье, когда я спросил, вернётся ли он. Ведь если бы там было правда хорошо и правда

Дом - мой вопрос был бы глупый, детский, и надо мной бы посмеялись. Смеются же, когда спрашивают глупое. А тут не смеялись. Тут испугались. Значит, вопрос был не глупый. Значит, я нащупал стекло. И с тех пор я его всё щупал, всю жизнь, языком и лбом, - тонкую, невидимую, холодную стену между тем, что мы говорим, и тем, что есть.

Мать после того долго меня отучала. Не била - уговаривала. «Не спрашивай, Зачемка. Кто спрашивает - тому тяжелее рыть. А рыть всё равно надо. Так лучше не спрашивать - и рыть легко». Она говорила это, отвернувшись, лицом к стене, и я по спине видел, как ей самой тяжело держать этот ответ, будто короб, который не поставить. Она умерла раньше срока, надорвавшись на коробах, и её тоже проводили, только гул её не звал по имени - она просто легла и не встала, и это у нас не честь, это просто усталость, про такое не поют. Её снесли вниз молча. И я остался один со своим именем.

Глава третья

Правила спуска

«РОЙ ВНИЗ. НЕ ПОДНИМАЙ ГОЛОВЫ.»

У Спуска есть правила, и их знает каждый, кто умеет держать лопату, то есть каждый, потому что кто не умеет держать лопату - того у нас как бы и нет. Правила такие. Рой вниз. Землю подавай вверх. Наверх не ходи. Голову не поднимай. На гул не оборачивайся раньше времени. Слушай старшего. Старший слушает Зодчего. Зодчий слушает Дом.

Зодчего никто не видел, и это правильно, потому что Зодчий - это тот, у кого чертёж. Чертёж - это бумага, на которой нарисован Дом, весь целиком, каким он будет, когда мы дороемся. По чертежу выходит, куда рыть завтра, и послезавтра, и через сто локтей. Без чертежа мы бы рыли как попало, вкривь и вкось, и, может, прорыли бы мимо Дома, и тогда всё зря. А с чертежом - не зря. Поэтому чертёж берегут пуще колодца и держат глубоко, у самого нижнего уступа, где живёт Зодчий, и никого туда не пускают, и это правильно, я уже говорил.

Я спросил однажды у мастера Совы - его так звали, потому что он не спал по ночам и стерёг, чтоб никто не полез наверх, - я спросил: «А ты видел чертёж?» Сова посмотрел на меня

своими незакрывающимися глазами и ответил медленно: «Я видел того, кто видел того, кто держал того, кто нёс». - «А что на нём?» - «Дом». - «А какой он, Дом?» Сова долго молчал, шевеля губами, будто пробовал слово на вкус и не мог проглотить. «Тёплый, - сказал он наконец. - На нём написано, что тёплый». И отвернулся, и я понял, что больше он не знает, и что он и сам этого не любит - знать, что не знает.

На языке у нас два слова, похожих, как два ведра. Есть слово «зачем» - им спрашивают, для чего живут и роют. И есть слово «затем» - им отвечают. «Затем, чтобы был Дом». Одно всего письмецо разницы - а всё, что между ними, и есть Гулкое. «Зачем» - это когда ты ещё снаружи и смотришь на дело со стороны и можешь спросить, твоё ли оно. «Затем» - это когда ты уже внутри и дело смотрит на тебя. Старшие говорят: скоро первое слово уберут за ненужность. Если на всякое «зачем» ответ один и тот же, то и спрашивать нечего, оставим одно «затем», и станет тише. Тише у нас любят. От тишины ближе слышно гул.

И слова у нас правда убирают. Это не выдумка и не пугало для детей. Есть человек, чьё дело - убирать слова. Он ходит по уступам с ведром белой глины и чинит надписи. «Чинит» - это у нас так называется. А на деле - укорачивает. Я вырос под надписью, которую он чинил на моих глазах, всю мою жизнь, по букве, по слову.

Надпись была такая, я помню её длинной, как помнят колыбельную: «НАВЕРХУ БЫЛО ХОЛОДНО, И ТЕМНО, И

ПУСТО; ВНИЗУ БУДЕТ ТЕПЛО, И СВЕТЛО, И ВСЕ ВМЕСТЕ; МЫ ДОРОЕМСЯ, ЕСЛИ НЕ БУДЕМ ОГЛЯДЫВАТЬСЯ». А стала - короткая, крепкая, как удар: «НАВЕРХУ БЫЛО ХОЛОДНО. ВНИЗУ БУДЕТ ТЕПЛО». Я спросил у матери, ещё когда она была жива, куда делись остальные слова. Мать испугалась - я по спине увидел, как испугалась. «Осыпались, - сказала она, не оборачиваясь. - Лишние осыпались. Останутся самые крепкие. Так и надо. Меньше слов - меньше сомнений».

Меньше слов - меньше сомнений. Это была не её мысль. Это была его мысль, того, кто чинит. Его так и звали - по делу: Правщик. И вышло однажды, что меня, лучшего на трёх уступах копальщика, отрядили ему в помощь. Носить ведро. И я узнал, как оно делается - забывание. Оказалось, у него добрые руки.

Глава четвёртая

Правщик

«МЕНЬШЕ СЛОВ - МЕНЬШЕ СОМНЕНИЙ»

Правщик был стар и опрятен - единственный опрятный человек в Гулком, потому что руки у него были всегда в белом, а не в буром, в глине светлой, а не в земле. Он не копал. Он единственный из всех не копал, и это ему прощали, потому что дело у него было тоньше лопаты: он держал в порядке слова, а слова у нас важнее земли - землёй мы роём, а словами объясняем, зачем роём.

Он ходил медленно, по уступам, снизу вверх и сверху вниз, и останавливался у каждой надписи, и смотрел на неё долго, ласково, склонив голову, как смотрят на больного ребёнка. Потом обмакивал кисть в белое и - правил. Я стоял рядом с ведром и смотрел, как из-под его руки уходят буквы. Он не замазывал грубо. Он делал так, чтобы казалось, будто слова осыпались сами, от времени, от сырости, - оставлял неровный край, крошку, тень старой буквы. Чтобы человек, проходя, подумал: вот, осыпалось, жаль, но что ж, крепкое-то осталось. Чтобы никто не понял, что осыпалось не время, а он.

- Зачем ты их убираешь? - спросил я в первый же день, и

он не вздрогнул от моего имени, как другие, а обрадовался, будто давно ждал этого вопроса.

- А я не убираю, милый, - сказал он. - Я освобождаю. Смотри. - Он показал кистью на длинную надпись. - Вот тут написано много. А человек идёт мимо усталый, ему рыть, ему некогда читать много. Он прочтёт первое слово, второе - и устанет, и бросит, и уйдёт, не поняв. А я оставлю два самых крепких - и он прочтёт их разом, и они войдут в него, как гвоздь, с одного удара. Меньше слов - меньше сомнений. Длинную мысль можно повернуть и так и эдак, в ней есть щели, в щели дует ветер, в ветре - вопрос. А короткую не повернёшь. Короткая - как камень. Я делаю из мыслей камни, чтоб людям было на что встать.

- А слова? - спросил я. - Те, что ушли. Куда они? Совсем нет их больше?

Он остановился. Посмотрел на меня внимательно, и в старых его глазах я увидел что-то, чего не ждал, - не хитрость, а нежность, и под нежностью, глубоко, усталость, старую, как он сам.

- А я их помню, - сказал он тихо, будто признаваясь. - Все. Каждое, что снял со стен за всю жизнь. Они не пропадают, милый. Они переходят ко мне. Я их держу - вот тут, - он коснулся груди, там, где у нас у всех гудит, - в тепле. Я, может, один во всём Гулкем знаю все слова, какие были. И «зачем» знаю, и то, что было до «наверху холодно», всё длинное, настоящее. Я - как колодец: с уступов слова сливаются в меня,

и я их берегу.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.